



Поэмы Боратынского.

Среди произведений Боратынского своеобразное место занимают его поэмы, представляющиеся настолько резким отличием от его лирических произведений, что их неудобно рассматривать параллельно с лирикой. Вместе с тем поэмы Боратынского настолько связаны одна с другой, что экскурсия по ним легко выделяется из одного очерка литературной деятельности поэта.

За исключением первых („Эды“ и „Пирог“), поэмы Боратынского не пользовались большим успехом у современников, и среди потомства осталась скромная слава скорбной музы искреннего поэта-пессимиста, только как лирика-пессимиста.

Такой незначительный успех поэм Боратынского обуславливался не только тем, что лучи славы Пушкинских поэм затмили скромную поэму Боратынского, но и той особой позицией, тем особым положением, которое занимали его поэмы в современной литературе. И поэмами своими, равно как и лирическими выражениями эстетически полно и целиком пережитой минуты, Боратынский являлся одиноким и как будто бы чужим своему литературному веку, и, тем не менее, в поэмах Боратынского, в такой же степени, как и в лирике, (а может быть и в большей), найдем мы много общих точек соприкосновения с современной жизнью и литературой. Поэмами своими, как и лирическими моментами, муза Боратынского обладает „необщим выражением“ лица, но не трудно разгадать в самом лице черты, характерные для поэта 20-х и 30-х годов XIX века.

Первое и, может быть, наибольшее существенное отличие поэм Боратынского заключается в том, что он, собственно

говоря, и *не поэмы*. И эту особенность своихъ крупныхъ произведеній сознавалъ ясно и самъ поэтъ и называлъ свои поэмы *повѣстями*. Название „поэмъ“ поэтъ оставилъ только за „Воспоминаніями“, „Пирами“ и „Вѣрой и невѣріемъ“; „Телему и Макара“ и „Переселеніе душъ“ Боратынскій назвалъ сказками, наибольшѣе же крупныя и законченныя, наибольшѣе художественно совершенныя произведенія названы имъ повѣстями: „Эда“—„финляндская повѣсть“, „Балъ“—„повѣсть“, „Наложница-Цыганка“—„повѣсть“. Воспитанный на классическихъ образцахъ, поэтъ живо чувствовалъ существенныя отличія (отличія по существу) родовъ поэтическихъ произведеній, и его дѣленіе поэмъ на 3 части—поэмы, сказки и повѣсти—является неслучайнымъ. Можно спорить съ Боратынскимъ въ его раздѣлениіи крупныхъ поэтическихъ произведеній на поэмы, сказки и повѣсти; можно спорить съ тѣмъ, что являются ли поэмы „Воспоминанія“ и „Пиры“ поэмами и пр.; можно спорить и съ самимъ раздѣленіемъ, объясняя его „французскимъ суевѣріемъ“, но наличие трехъ группъ—„Воспоминанія“, „Пиры“ и „Вѣра и невѣріе“, „Телема и Макаръ“ и „Переселеніе душъ“, и „Эда“, „Балъ“ и „Наложница-Цыганка“—очевидно. Независимо отъ того, какимъ именемъ называть каждую отдельную группу, необходимо различать ихъ групповые свойства; соответственно съ этой необходимостью и мы разобьемъ нашъ очеркъ о поэмахъ Боратынского на три части, при чёмъ главное вниманіе наше будетъ обращено на произведенія Боратынского, болѣе законченныя и внутренне-совершенныя, которыя самъ поэтъ назвалъ повѣстями.

Что касается до собственно „поэмъ“, то мы имѣемъ полностью одну поэму—„Пиры“, а остальные двѣ поэмы—„Воспоминанія“ и „Вѣра и невѣріе“ дошли до насъ только въ отрывкахъ, при чёмъ отрывокъ „Вѣры и невѣрія“ весьма незначителенъ по размѣру. Судить о цѣломъ, о замыслѣ, по части представляется намъ весьма рискованнымъ, и потому мы можемъ говорить только о данной части и не высказывать догадокъ. „Воспоминанія“ и отрывокъ изъ „Вѣры и невѣрія“ печатались до сихъ поръ въ посмертныхъ изданіяхъ¹⁾ вмѣстѣ съ другими лирическими стихотвореніями, а не съ поэмами, и ихъ не пытались рассматривать, какъ поэмы. Тѣмъ не менѣе—„Воспоми-

¹⁾) Впрочемъ, этотъ принципъ не проведенъ строго въ посмертныхъ изданіяхъ сочиненій Боратынского.

нанія" и „Вѣра и невѣріе“, хотя и отрывки, но отрывки поэмъ, и эти отрывки поэмъ нельзя рассматривать и помѣщать между законченными мелкими лирическими произведеніями.

Какъ можно судить по отрывкамъ первой юношеской поэмы, поэтъ задумывалъ широко свою поэму „Воспоминанія“ по образцу классическихъ французскихъ произведеній, и не только стихъ, но и мысли „Воспоминаній“ въ значительной степени навѣяны современной русской поэзіей, преимущественно — Батюшкова и Жуковскаго. Можно съ увѣренностью сказать, что 19-лѣтній юноша, поэтъ-дебютантъ, не совладалъ со своимъ замысломъ, и что поэма была напечатана въ отрывкахъ, т. к. поэту не доставало умѣнія для связного большого рассказа; первымъ препятствиемъ, которое онъ встрѣтилъ и которое не могъ одолѣть, было: трудность хода въ развитіи дѣйствія, движенія, обусловленная какъ мало подходящимъ для поэмы сюжетомъ, лишеннымъ драматического интереса, такъ и бѣдностью поэтическихъ приемовъ поэта, впервые взявшаго въ свои руки лиру.

Начатая черезъ 10 лѣтъ послѣ „Воспоминаній“, поэма „Вѣра и невѣріе“ переносить насъ въ другой внутренній міръ поэта. Эта пора Боратынского характеризуется тревожнымъ исканіемъ, отразившимся во всѣхъ современныхъ его произведеніяхъ и письмахъ къ И. В. Кирѣевскому. Духовная тревога и исканія отразились на новой поэмѣ, и, будь она закончена, мы имѣли бы наиболѣе полное, быть можетъ, выраженіе тревожной души поэта. Поэтъ въ это время искалъ новыхъ путей жизни, освѣщенныхъ философией и религіей, и, какъ можно думать на основаніи сохранившагося отрывка „Вѣры и невѣрія“, въ этомъ религіозно-философскомъ освѣщеніи и была задумана поэтомъ его новая поэма, раскрывающая вѣрованія поэта. Вмѣстѣ съ религіозными и философскими исканіями, вмѣстѣ съ исканіемъ новаго жизненнаго содержанія, поэтъ, не удовлетворяясь современными родами поэтическихъ произведеній, неустанно искалъ новой поэтической формы. Одной изъ такихъ попытокъ создать новый родъ поэмы, новую поэму, и былъ замыселъ „Вѣры и невѣрія“. Всякія догадки о развитіи поэмы должны быть оставлены: мы не знаемъ даже о томъ, какие герои принимаютъ участіе въ ней (въ дошедшемъ отрывкѣ мы имѣемъ только два дѣйствующихъ лица-обобщенія: онъ и она), и какое мѣсто занималъ бы отрывокъ въ цѣлой поэмѣ. Большой интересъ представляетъ тотъ фактъ, что этотъ діалогической отрывокъ названъ поэтомъ „сценой изъ поэмы“, и это название наводитъ

нась на соображенія и догадки, которых мы не решаемся высказывать...

Мы не знаемъ, была ли написана полностью поэма „Вѣра и невѣріе“, но намъ представляется, что поэма не могла быть закончена, такъ какъ религіозно-философское содержаніе ея является выраженіемъ не прошлыхъ исканій поэта въ этой области, не итогомъ прошлаго, не „отзывомъ прежнихъ чувствъ и прежнихъ впечатлѣній“, что составляло, по мнѣнію поэта, силу творчества „Фебова сына“, а той духовной тревоги Боратынского, которой не суждено было скоро улечься въ его душѣ. Въ исканіи поэтическихъ формъ Боратынскій также стоялъ въ то время на распутьи... Во всякомъ случаѣ, если бы даже и отыскалась полная рукопись „Вѣры и невѣрія“, мы не имѣли бы поэмы, одобренной высшимъ судомъ—судомъ самого поэта, напечатавшаго только небольшую сцену изъ поэмы „Вѣра и невѣріе“.

Итакъ, говоря о поэмахъ Боратынского, мы съ полной увѣренностью можемъ высказывать наши сужденія только о „Пирахъ“ — единственной законченной поэмѣ Боратынского. „Пиры“ Боратынского были созданы въ 1821 году, т.-е. въ то время, когда, по словамъ барона А. А. Дельвига, „холодъ и суевѣріе французское“ пробивались въ его поэзіи. И „правила французской школы“, которыхъ поэтъ „всосалъ съ материнскимъ молокомъ“, замѣтно отразились на его шутливой, „описательной поэмѣ“, которую, по ея родству съ французскими и русскими образцами, можно скорѣе назвать посланіемъ къ друзьямъ, чѣмъ поэмой.

Изъ всевозможныхъ произведеній подобного рода французскихъ *poësies légères*, повлиявшихъ на создание „Пировъ“, можно въ особенности указать на поэмку (такого же объема, какъ и „Пиры“) „Le déjeuner“ Мильвуа, начинающуюся словами:

Mes chers amis, certes, je fais grand cas
Du sage auteur de la gastronomie...

Нельзя забыть также, что подобные воспѣванія пиществъ были весьма въ модѣ въ современной русской поэзіи, и вслѣдъ за Батюшковымъ и Пушкинымъ цѣлый рядъ поэтовъ воспѣвалъ дружескія пирушки. И подобно тому, какъ Боратынскій выдѣлялся своей элегіей среди безконечныхъ элегистовъ, у коихъ „душа увянула и сердце отзвѣло“, шутливая описательная поэма его отличалась такой оригинальностью и неподдѣльною живостью и остроумiemъ, что поразила современниковъ—

и рядовыхъ, и такихъ нерядовыхъ, какъ Пушкина, который всегда живо помнилъ „Пиры“ Боратынского. Въ историко-литературномъ комментаріи можно указывать на тѣ иностранные и русскіе источники, въ зависимости отъ которыхъ находился Боратынскій въ періодъ создания „Пировъ“; можно говорить о рядѣ параллельныхъ мѣстъ въ „Русланѣ и Людмилѣ“ и въ „Пирахъ“—въ мысляхъ и въ поэтическихъ оборотахъ; можно говорить о зависимости фактуры стиха Боратынского отъ Пушкина, но нельзя не признать индивидуальной кисти художника, создавшаго яркую и живописную картину въ игривыхъ стихахъ, бѣгущихъ рѣзою волной, непринужденно искрящихся и переливающихся и не терпящихъ пѣна. Высшей похвалой для „Пировъ“ можетъ служить память о нихъ Пушкина, засвидѣтельствованная не только отзывами Пушкина, но и иѣкоторыми мѣстами „Евгения Онѣгина“. Взаимная связь творчества Пушкина и Боратынского, можетъ быть, ярче всего сказалась въ „Пирахъ“, связь, свидѣтельствующая объ одинаковыхъ источникахъ, литературныхъ и жизненныхъ, которыми питалось вдохновеніе Пушкина и Боратынского.

Воспѣваніе дружескихъ „пирушекъ“ было очень модно, но слѣдующій отрывокъ изъ „Пировъ“¹⁾ говоритъ не только о дани современности, но имѣть и цѣну автобіографического значенія, такъ какъ находитъ себѣ подтвержденіе въ свидѣтельствѣ многихъ стихотвореній Дельвига:

Сберемтесь дружеской толпой
Цодъ мирный кровъ домашней сѣни:
Ты, вѣрный мнѣ, ты Д[ельвигъ] мой,
Мой братъ по музамъ и по лѣни;
Ты, поневолѣ милый лѣстецъ,
Очаровательный пѣвецъ
Любви, свободы и забавы,
Ты, П[ушкинъ],—вѣтреный мудрецъ,
Наперникъ шалости и славы,—
Молитву радости запой,
Запой: сосѣдственные боги,
Сатиры, Фавны козлоноги

¹⁾ Какъ этотъ, такъ и слѣдующіе отрывки приведены нами въ томъ членіи, которое было забыто послѣдующими издателями и изслѣдователями, и которое возстановлено нами во II томѣ сочиненій Боратынского, изд. „Академической библиотеки русскихъ писателей“, имѣющемъ выйти въ свѣтъ въ самомъ скоромъ времени.

Сбѣгутся слушать голосъ твой,
 Пѣвца внимательно обстануть
 И, гимнъ веселый затвердивъ,
 Имъ оглашать наперерывъ
 Мои лѣса не перестануть.
 Вы всѣ, дѣлившие со мной
 И наслажденья, и мечтанья,—
 О, поспѣшите въ домикъ мой
 Упиться радостью свиданья!
 Толпой сберитесь опять
 Шумѣть за чашей круговою,
 Былое время вспоминать
 И философствовать со мною.

Любопытно, что поэтъ призываетъ „подъ мирный кровъ“ Пушкина и Дельвига—поэтовъ, которыхъ Боратынскій особенно выдѣлялъ среди всѣхъ своихъ друзей—поэтовъ.

Замѣтимъ, что, несмотря на всю удачу „Пировъ“, Боратынскій болѣе не возвращался къ подобного рода поэмамъ, и „Пиры“ остались единственнымъ памятникомъ шутливой поэмы; въ то же время „Пиры“, которые можно назвать съ натяжкой „поэмою“, являются и единственной поэмой Боратынскаго, т. к. остальные поэмы—„Воспоминанія“ и „Вѣра и невѣrie“—остались, какъ мы видѣли, исоконченными.

Изъ „сказокъ“, написанныхъ Боратынскимъ, наибольшій интересъ представляетъ вторая его сказка—„Переселеніе душъ“, такъ какъ первая—„Телема и Макаръ“, ничто иное, какъ почти буквальный переводъ сказки Вольтера „Théâtre et Macage“. Боратынскій пытался, повидимому, приблизить сказку Вольтера къ условіямъ русской жизни, но такое пріуроченіе не пошло дальше замѣны двора—„Царскимъ селомъ“.

Гораздо любопытнѣе другая сказка „Переселеніе душъ“—„первый плодъ мечты игривой, новой жизни первый плодъ“. „Переселеніе душъ“ было первымъ крупнымъ произведеніемъ въ „новой жизни“ поэта, оставившаго въ 1826 году военную службу и нашедшаго себѣ „подругу вѣрную“—Н. Л. Энгельгардтъ. Въ „эпилогѣ“ сказки поэтъ посвящаетъ свой „трудъ непринужденный“ вѣрной подругѣ, прояснившей жизнь поэта, и такими словами характеризуетъ свою сказку:

Веселой музой вдохновенный,
Веселый вздоръ болтаю я.

„Веселый вздоръ“ Боратынского, фантастический сюжетъ „Переселенія душъ“ былъ очень въ духѣ романтической фантастики, и въ этомъ смыслѣ сказку Боратынского можно рассматривать, какъ дань своему времени и своему учителю—Жуковскому. За „веселымъ вздоромъ“ сказки можно увидѣть однако и болѣе глубокія мысли поэта, задумавшагося надъ враждою чувствъ между собою. Жестокій случай, связывающій людей не столько посредствомъ душъ, сколько „ртами“ и „подбородками“, внушилъ бы въ другое время „тяжелому вдохновенію“ печальной души поэта иное заключеніе, гораздо менѣе отрадное, чѣмъ то, которое онъ вывелъ изъ переселенія душъ Царевны и пастушки:

Что жъ? о счастіи прямомъ
Провѣдать людямъ неудобно;
Мы знаемъ, свойственно ему
Любить хранительную тьму,
И драгоцѣнное подобно
Въ томъ драгоцѣнному всему.
Гдѣ искрометные рубины,
Гдѣ перлы свѣтлые нашли?—
Въ глубокихъ пропастяхъ земли,
На темномъ днѣ морской пучины.
А что съ Царевною моей?
Она съ плотнѣйшимъ изъ князей
Великолѣпно обвѣнчалась.
Онъ съ нею ладно жилъ, хотя
Въ иное время не шутя
Его супруга завиралась,
И даже, подъ сердитый часъ,
Она, возвыся бойкій гласъ,
Совсѣмъ ругательски ругалась:
Онъ не ропталъ на то ничуть,
Любилъ житье-бытье простое,
И самъ, гдѣ надо, завернуть
Не забывалъ словцо лихое.
По-своему до позднихъ дней
Душою въ душу жилъ онъ съ ней.

Что касается до способа передачи сказки—языка и стиха—„Переселеніе душъ“ отличается большимъ разнообразіемъ и

богатствомъ всевозможныхъ оттѣнковъ. Роскошною красочностью стиха и нѣкоторою приподнятостью тона вѣеть отъ слѣдующихъ строкъ:

Какъ будто къ празднику большому,
Ея чертоги убранны:
Вездѣ легли ковры богаты,
И дорогіе ароматы
Во всѣхъ кадилахъ возжены;
Всѣ водометы пущены;
Блистаютъ рѣдкими цвѣтами
Ряды узорчатыхъ кошницъ,
И полонъ воздухъ голосами
Иноземельныхъ, чудныхъ птицъ.
Все нѣгой сладостною дышетъ,
Все дивной роскошью пышетъ.

И эта сладостная нѣга и дивная роскошь чередуется съ шутками, съ просторѣчіемъ, съ эпиграмматическимъ направлениемъ. Описавъ „красотъ подсолнечныхъ алмазъ“—молодую царевну,—„любовь души, веселье глазъ“, которая была „челомъ бѣлѣ лилій Нила, коралла пынаго морей устами свѣжими алѣй, яснѣе дневнаго свѣтила улыбкой ясною своей“, поэтъ говоритъ, что она:

Къ своимъ высокимъ женихамъ
Вниманье вовсе прекратила
И, кроме колкихъ эпиграммъ,
Имъ ничего не говорила.

О „вѣщемъ толкователѣ Изиды“, столѣтнемъ магѣ, поэтъ разсказываетъ въ такомъ тонѣ:

На то и жилъ почтенный дядя;
Отвергнувъ міра суetu,
Не пилъ, не ъль, не спалъ онъ, глядя
Въ глаза священному коту...

Эта гибкость языка и стиха, разнообразіе оттѣнковъ тона для передачи соответствующихъ оттѣнковъ мысли была въ большой степени достигнута въ „Переселеніи душъ“, и этой гибкостью рѣчи вполнѣ воспользуется Боратынскій, какъ мы увидимъ, въ послѣдней своей поэмѣ—въ повѣсти „Наложница“.

Перейдемъ теперь къ тѣмъ крупнымъ произведеніямъ Боратынскаго, которыя поэтъ называлъ повѣстями, и въ которыхъ наиболѣе ярко выражалась сильная индивидуальность поэта. „Эда“, „Балъ“ и „Наложница-Цыганка“ представляютъ собой попытки создать новый родъ поэмы, независимой отъ существовавшихъ образцовъ. Поэтъ индивидуалистъ въ лирикѣ, для которого досадно было всякое повтореніе, всякое подражаніе, и въ поэмахъ своихъ хотѣлъ итти своимъ путемъ, не подчиняясь такимъ образцамъ, которымъ трудно было не подчиняться, и отъ влиянія которыхъ нужно было сознательно отгородиться для того, чтобы незамѣтно, безсознательно, не перейти въ ихъ колею. И, чтобы не подпасть влиянію Пушкина и Байрона, надо было сознать направленіе своего пути, какъ иное, отличное отъ нихъ. И въ предисловіи къ первой своей повѣсти „Эда“ Боратынскій пишетъ, что „онъ не принялъ лирическаго тона въ своей повѣсти, не осмѣливался вступить въ состязаніе съ пѣвцомъ Кавказскаго Плѣнника и Бахчисарайскаго Фонтана. Поэмы Пушкина не кажутся ему бездѣлками. Нѣсколько лѣтъ занимаясь поэзіей, онъ замѣтилъ, что подобныя бездѣлки принадлежать великому дарованію, и слѣдовать за Пушкинымъ ему показалось труднѣе и отважнѣе, нежели итти новою, собственою дорогою. Въ чемъ же заключается, какова же намѣченная поэтомъ его „новая собственная дорога“?

На первыхъ порахъ, въ предисловіи къ „Эдѣ“, поэтъ увидѣлъ ее въ „обыкновенности“ хода повѣсти, въ обиліи „мелочныхъ подробностей“; и тутъ же поэтъ высказываетъ свое вѣрованіе: „въ поэзіи двѣ противоположныя дороги приводятъ почти къ той же цѣли: очень необыкновенное и очень простое, равно поражая умъ и равно занимая воображеніе“. И Боратынскому кажется, что онъ написалъ совершенно „простую“ повѣсть, состоящую изъ „мелочныхъ подробностей“...

Не будемъ разматривать сейчасъ, насколько его финляндская повѣсть „Эда“ является действительно „простой, состоящей изъ мелочныхъ подробностей“, реалистической повѣстью, но, во всякомъ случаѣ, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что „новая собственная дорога“, по которой хотѣлъ итти Боратынскій въ своихъ поэмахъ, оказалась реалистической повѣстью, которую онъ и хотѣлъ отмежеваться отъ влиянія романтической поэмы Байрона и Пушкина. Еще яснѣе выразилъ Боратынскій свои взгляды на поэму-повѣсть въ предисловіи къ своей послѣдней повѣсти „Наложница“. Въ этомъ предисловіи поэтъ не столько защищаетъ нравственность произведеній съ рискованнымъ, какъ

будто въ нравственномъ смыслѣ, сюжетомъ, сколько оправдываетъ реалистическую повѣсть и нравственную пользу, приносимую реалистическими произведеніями. Существенной чертой поэтическихъ произведеній Боратынскій считаетъ „истину показаній“, игнорируя „прекрасное“: поэтъ хотя и соглашается, что въ литературѣ „можно искать и прекрасное“, „но прекрасное не для всѣхъ“, и потому „читайте же романъ, трагедію-поэму, какъ вы читаете *путешествіе*“. И въ слѣдующихъ строкахъ поэтъ развиваетъ свою мысль о необходимости реалистического метода въ искусствѣ:

„Странствователь описываетъ вамъ и веселый югъ, и суровый сѣверъ, и горы, покрытыя вѣчными льдами, и смѣющіяся долины, и рѣки прозрачныя, и болота, поросшія тиною, и цѣлебныя, и ядовитыя растенія. Романисты, поэты изображаютъ добродѣтели и пороки, ими замѣченныя, злые и добрыя побужденія, управляющія человѣческими дѣйствіями. Ищите въ нихъ того же, что въ путешественникахъ, въ географахъ: известій о любопытныхъ вамъ предметахъ; требуйте отъ нихъ того же, чего отъ ученыхъ: истины показаній.“

Читайте землеописателей, и, не выходя изъ вашего дома, вы будете имѣть понятіе объ отдаленныхъ, разнообразныхъ краяхъ, которыхъ вамъ, можетъ быть, не случится увидѣть собственными глазами. Читайте романистовъ, поэтовъ, и вы узнаете страсти, вами или не вполнѣ или совсѣмъ не испытанныя, нравы, выраженія которыхъ, можетъ быть, вы бы сами не замѣтили; узнаете положенія, въ которыхъ вы не находились; обогатитесь мыслями, впечатлѣніями, которыхъ вы безъ того бы не имѣли; пріобщите къ опытамъ вашимъ опыты всѣхъ прочтенныхъ вами писателей и бытіемъ ихъ пополните ваше“.

Боратынскій своей новой реалистической повѣстью какъ будто былъ независимъ отъ своего времени; однако и эта реалистическая повѣсть была тѣсно связана съ временемъ, и тѣ же литературные потребности, которые обусловили созданіе повѣстей Боратынского, вызвали къ жизни такія произведенія Пушкина, какъ „Графъ Нулинъ“ и „Домикъ въ Коломнѣ“. Независимость отъ литературныхъ образцовъ и оригинальность повѣстей Боратынского несомнѣнна, но несомнѣнно въ то же время, что повѣсти Боратынского зависѣли отъ господствовавшаго романтическаго направленія съ его двумя тенденціями—идеалистической и реалистической. Послѣдняя тенденція романтизма—реалистическая уже ясно обнаружилась въ 30-хъ годахъ и привела къ созданію реалистической повѣсти; этой тенденціи подчинился и Боратынскій, но создавалъ свои реали-

стическая поэмы тогда, когда еще мало замѣтно пробивалась реалистическая струя.

Еще замаскированное, неясное признаніе реализма въ предисловіи къ „Эдѣ“ получило свое развитіе въ предисловіи къ „Наложницѣ“, въ которомъ реализмъ является торжествующимъ. Сравнивъ въ хронологическомъ порядкѣ поэмы Боратынского „Эда“, „Балъ“ и „Наложница“, можно съ увѣренностью вывести заключеніе о „новой, собственной дорогѣ“ Боратынского, о пути, по которому онъ пошелъ.

Путь Боратынского въ его поемахъ или повѣстяхъ — путь отъ идеализма къ реализму, и своимъ путемъ Боратынский часто совпадалъ съ общимъ ходомъ русской литературы, то подчиняясь литературнымъ традиціямъ, то опережая свой литературный вѣкъ.

Наиболѣе идеалистично-романтической поэмой является первая его „финляндская повѣсть“ — „Эда“. Несмотря на то, что въ предисловіи своемъ поэтъ говоритъ о новомъ, независимомъ отъ Пушкина и романтической поэмы, пути, по которому онъ пойдетъ въ своей повѣсти, въ „Эдѣ“ обнаруживается несомнѣнная зависимость отъ байроническо-романтической поэмы.

Заявивъ въ предисловіи, что „онъ не принялъ лирическаго тона въ своей повѣсти“, въ развитіи самой повѣсти Боратынский не могъ отказаться отъ него, и выраженіе грустнаго лирическаго чувства поэта поминутно прерываетъ спокойный разсказъ, создавая музикально-идеалистично-романтическое освѣщеніе, въ которомъ доминируетъ задумчиво-грустный тонъ и въ которомъ отражается душа поэта, не безучастная къ душевному горю „своей“ Эды:

...И отвращенное дотоль
Лице тихонько обратила
Къ нему бѣдняжка.
О злодѣй!
Съ какою медленностью томной,
И между тѣмъ какъ будто скромной,
Напечатлѣть умѣлъ онъ ей
Свой подѣлуй! Какое чувство
Ей въ грудь младую вливъ онъ имъ!
И лобызаніемъ такимъ
Владѣеть хладное искусство!
Ахъ, Эда, Эда, для чею
Такое долюс миновенье

*Во влажномъ пламени єю
Пила ты страстное забвенье?
Полна съ поры мятежной сей
Желанья смутнаго заботой,
Ты освѣжительной дремотой
Ужъ не сомнешь своихъ очей;
Слетять на ложе сновидѣнья,
Тебѣ безвѣстныя досель,
Иль долго жаркая постель
Тебѣ не дастъ успокоенья.
На камняхъ розовыхъ твоихъ
Весна игриво засвѣтлѣла,
И ярко зеленъ мохъ на нихъ,
И птичка весело запѣла,
И по гранитному одру
Свѣтло бѣжитъ ручей сребристый,
И лѣсь прохладою душистой
Съ востока вѣеть по утру;
Тамъ за горою долъ таится,
Уже цвѣты пестрѣютъ тамъ;
Уже черемухъ єиміамъ
Тамъ въ чистомъ воздухѣ струится:
Свою нѣгою страшна
Тебѣ волшебная весна.
*Не слушай птички сладконосной!
Отъ сна возставшая, съ крыльца
Къ прохладѣ утренней линиа
Не обращай и въ долѣ прекрасной
Не приходи, а сверхъ сею
Быти тусара твоего!**

И вся повѣсть написана въ такомъ элегическомъ тонѣ, иногда съ отдаленно-сантиментальными оттѣнками, и нельзя не увидѣть въ лирическомъ тонѣ Боратынского родственного съ тономъ Жуковскаго. Гармонируетъ съ этимъ тономъ и заключеніе „реалистической повѣсти (?)“:

Кладбище есть. Тѣснятся тамъ
Къ холмамъ холмы, кресты къ крестамъ,
Однообразные для взгляда;
Ихъ (межъ кустами чуть видна,
Изъ круглыхъ камней сложена)
Обходитъ низкая ограда.

Лежитъ уже давно за ней
Могила дѣвицы моей.
Кто, кто теперь ее отыщетъ,
Кто съ нѣжной грустью навѣстить?
Кругомъ все пусто, все молчитъ;
Порою только вѣтеръ свищетъ
И можжевельникъ шевелитъ.

Въ связи съ общимъ идеалистическимъ освѣщеніемъ поэмы, создание характеровъ въ „Эдѣ“ отличается такъ же, если такъ можно выразиться, идеалистической манерой.

Передъ нами, на фонѣ финляндской жизни, дѣйствуютъ два „героя“: онъ—гусаръ-соблазнитель—и она жертва гусара, простая финляндская дѣвушка. Немного знаемъ мы о „злодѣѣ“ гусара, характеръ котораго не развитъ широко: Боратынскій сильно сгущаетъ краски, когда говорить о „коварномъ искусствѣ“ гусара, и читатели поэмы вмѣстѣ съ авторомъ восклицаютъ—„о злодѣѣ!“, но образъ самого злодѣя, еще болѣе неопределенный, чѣмъ образъ Кавказскаго плѣнника (которымъ онъ, быть можетъ, навѣянъ), остается неяснымъ. Болѣе развитъ образъ Эды, которой поэтъ даетъ такую характеристику:

Нежданный цвѣтъ въ пустынѣ той,
Отца простого дочь простая,
Красой лица, души красой
Блистала Эда молодая.
Прекрасный не было въ горахъ:
Румянецъ нѣжный на щекахъ.
Летучій станъ, волосы златые
Въ небрежныхъ кольцахъ по плечамъ,
И очи блѣдно-голубыя,
Подобно Финскимъ небесамъ,
Готовность къ чувству въ сердцѣ чистомъ,—
Вотъ Эда вамъ!

По мѣрѣ развитія поэмы авторъ все болѣе и болѣе уясняетъ эту характеристику, и въ концѣ „повѣсти“ читатель имѣеть вполнѣ определенный образъ, привлекающій его симпатіи (какъ онъ привлекъ и симпатіи автора, который говоритъ объ Эдѣ—„моя“), но идеализація героини не подлежитъ сомнѣнію: невинность, чистота, ясность души, чувствительность (готовность къ чувству)—вотъ та краса души, какой „блестала Эда молодая“.

Такъ Пушкинъ, идеализируя, создавалъ свою черкешенку въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ“, Марію въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“, Марію въ „Полтавѣ“, такъ Байронъ создавалъ свои прекрасные женскіе образы...

„Что-жъ чухонка Баратынского? я жду“—писалъ Пушкинъ брату, но когда прочелъ „Эду“, долженъ былъ измѣнить не-подходящее выражение: героиню реалистической повѣсти Боратынского можно еще назвать „чухоночкой“ (какъ Пушкинъ и назвалъ ее въ своей эпиграммѣ), но ни въ коемъ случаѣ не „чухонкой“, названиемъ, рѣзко дисгармонирующемъ съ создан-нымъ Боратынскимъ идеальнымъ образомъ.

Впослѣдствіи этотъ идеалистический тонъ будетъ ослабляться, уступая свое мѣсто реалистическому изображенію характеровъ; героиню послѣдней повѣсти Боратынского можно назвать цыганкой; но въ Эдѣ идеализмъ является преобладающимъ и свидѣтельствуетъ о сильномъ и прямомъ воздействиѣ романтизма, отъ которого поэтъ хотѣлъ, но не могъ отмежеваться. Подобно тому, какъ можно найти общее въ развитіи характеровъ и родственное въ самихъ характерахъ Кавказского Плѣнника и гусара, черкешенки и Эды, общее найдемъ мы и въ темѣ „Кавказского Плѣнника“ и „Эды“. Боратынскій совершенно оригинально и своеобразно развиваетъ „Эду“, но канва поэмы—обольщеніе злодѣя-эгоиста невинной и чистой дѣвушки, которая платитъ жизнью за довѣрчивую готовность къ чувству—близка къ канвѣ „Кавказского Плѣнника“ и, слѣдовательно, принадлежитъ къ числу ходящихъ темъ романтической поэмы того времени.

Зависимость „Эды“ отъ романтической поэмы еще въ большей степени сказалась въ новомъ, творческомъ принципѣ романтической школы: въ соблюденіи мѣстного колорита въ извѣстномъ *couleur local*, которымъ окрашивалась поэма. Рядомъ съ кавказскимъ колоритомъ „Кавказского Плѣнника“, съ крымскимъ, съ колоритомъ „Тавриды“—„Бахчисарайского Фонтана“, съ цыганскимъ—„Цыганѣ“—должна быть поставлена и „финляндская“ повѣсть „Эда“. Общее у „Эды“ съ „Кавказскимъ Плѣнникомъ“ и другими романтическими произведеніями сказалось и въ томъ, что мѣстный быть оставался въ тѣни, главное же вниманіе поэта-живописца было обращено на природу, на фонѣ которой и развивается дѣйствіе поэмы. И въ „Эдѣ“ финляндская жизнь, быть съ его мѣстнымъ колоритомъ, почти отсутствуетъ, представленный едва замѣтно однимъ—другимъ штрихомъ, но финляндская природа написана такими живыми

красками, съ такимъ богатствомъ сочетаній и разнообразіемъ оттѣнковъ, что одной своей „Эдой“ поэтъ заслуживалъ имя лучшаго пѣвца Финляндіи и заставлялъ забывать о своемъ учителѣ, первомъ пѣвцѣ Финляндіи—Батюшковѣ.

Зависимость Боратынского отъ романтической поэмы несомнѣнна, и первая его повѣсть была, конечно, въ большей степени идеалистической, нежели романтической, но такъ же несомнѣнно, что Боратынский былъ вполнѣ оригиналъ, и что обиліе мелочнѣхъ подробностей и жизненная правдивость давали тѣнь подобія реалистической повѣсти. На вѣковомъ отдаленіи, послѣ триумфального шествія реализма въ русской литературѣ, мы болѣе замѣчаемъ идеалистично-романтическую струю „Эды“, то, что сближало ее съ современными романтическими произведеніями, современники же поэта болѣе выдѣляли новое, реалистическое въ повѣсти Боратынского. Такъ понялъ „Эду“ и А. И. Тургеневъ, который, сдѣлавъ въ письмѣ къ князю Вяземскому большую выписку изъ „Эды“, прибавляетъ: „Кто изъ насть, тяжелѣе или легче, не вздохнетъ съ грустнымъ воспоминаніемъ и съ укоромъ совѣсти при этомъ окончаніи! Оно мнѣ нравится, ибо я нахожу въ немъ было, а не сказку“...

Дальнѣйшимъ шагомъ Боратынского отъ идеализма къ реализму была его вторая повѣсть въ стихахъ—„Балъ“, вышедшая въ свѣтъ (въ 1827 году) вмѣстѣ съ „Графомъ Нулинымъ“ Пушкина.

„Балъ“, какъ было отмѣчено и наиболѣе чуткой современной критикой (Кирѣевскимъ), не отличается тѣмъ лирическимъ единствомъ и увлекательностью, которыя придавали неизѣяснимое и трогательное очарованіе первой повѣсти Боратынского. Грустный тонъ „Эды“ производилъ удивительное впечатлѣніе своей дѣятельностью и однимъ настроеніемъ, проникавшимъ всю повѣсть, но свидѣтельствовалъ о сравнительной бѣдности красокъ поэта, ихъ монотонности въ концѣ концовъ и создавалъ изъ „Эды“ лирическую повѣсть. „Балъ“ не обладаетъ такимъ лирическимъ характеромъ, поэтъ рѣдко выказываетъ свое отношеніе къ героямъ, предоставляя имъ свободно говорить за себя, и въ этомъ отношеніи „Балъ“ болѣе приближается къ реалистической повѣсти. Въ то же время „Балъ“ гораздо богаче разнообразіемъ тоновъ и красочностью отдѣльныхъ частей и картинъ, подчиненныхъ общей гармоніей. Совершенствующійся стихъ Боратынского, полный музыкального чувства, роскошной нѣги и поэтической опредѣленности, наглядности, рѣзко вы-

черчиваетъ эти отдельныя картины, поражавшія читателей современниковъ. Таковы описанія бальнаго вечера, герони, стоящей передъ трюмо и собирающейся на балъ, ночи у Нины въ спальнай, смерти Нины. Напомнимъ эти отрывки читателю, чтобы подтвердить нашу мысль о тональномъ разнообразіи роскошною кистью написанныхъ картинъ, съ рѣзко вычертенными и проступающими контурами. Балъ въ высшемъ Московскому снѣтѣ:

Глухая полночь. Стремъ длиннымъ.
 Осеребренная луной,
 Стоять кареты на Тверской
 Предъ домомъ пышнымъ и стариннымъ.
 Пылаеть тысячью огней
 Обширный залъ; съ высокихъ хоровъ
 Гудятъ смычки; толпа гостей,
 Съ приличной важностью взоровъ,
 Въ чепцахъ узорныхъ, вычурныхъ,
 Рядъ нестрый барынь ножилыхъ
 Сидить. Причудницы отъ скуки
 То поправляютъ свой нарядъ,
 То на толпу, сложивши руки,
 Съ тупымъ вниманіемъ глядятъ.
 Кружатся дамы молодыя,
 Не чувствуютъ себя самихъ;
 Драгими камнями у нихъ
 Горятъ уборы головные;
 По ихъ плечамъ полунаагимъ
 Златые локоны летаютъ;
 Одежды, легкія, какъ дымъ,
 Ихъ легкій станъ обозначаютъ...

Особенно сильное впечатлѣніе на современниковъ произвело описание княгини передъ трюмо:

Ужъ газъ на ней, струясь, блестаетъ;
 Роскошно, сладостно очамъ
 Рисуетъ грудь, потомъ къ ногамъ
 Съ гирляндой яркой упадаетъ.
 Алмазъ мелькающихъ серегъ
 Горитъ за черными кудрями;
 Жемчугъ чело ея облекъ
 И, межъ обильными косами
 Рукой искусной пропущонъ,

То видимъ, то невидимъ онъ.
 Надъ головою перья вѣютъ:
 По томной прихоти своей,
 То ей лице они лелеютъ
 То дремлють въ локонахъ у ней.
 Межъ тѣмъ (къ какому разрушенью
 Ведетъ сердечная гроза!)
 Ея потухшіе глаза
 Окружены широкой тѣнью,
 И на щекахъ румянца нѣтъ!
 Чуть виденъ въ образѣ прекрасномъ
 Красы бывалой слабый слѣдъ!
 Въ стеклѣ живомъ и безпристрастномъ
 Княгиня бѣдная моя...

Княгинѣ стало дурно на балу, и она вернулась домой „глухою ночью“—

У Нины въ спальнѣ,
 Лѣниво споря съ темнотой,
 Передъ иконой золотой
 Лампада точитъ свѣтъ печальной.
 То пропадетъ во мракѣ онъ,
 То засиграетъ на окладѣ;
 Кругомъ глубокій, смертный сонъ!
 Межъ тѣмъ въ блестательномъ нарядѣ,
 Въ богатыхъ перьяхъ, жемчугахъ,
 Съ румянцемъ страннымъ на щекахъ,
 Тыль это, Нина, мною зрима?
 Въ переливающейся мглѣ
 Зачѣмъ сидишь ты недвижима,
 Съ недвижной думой на челѣ?
 Дверь заскрипѣла: слышитъ ухо
 Походку чью-то на полу;
 Передъ иконою, въ углу,
 Сталъ и закашлялъ кто-то глухо.
 Вотъ чья-то дряхлая рука
 Изъ тьмы къ лампадѣ потянулась...

Но если въ приведенныхъ нами отрывкахъ замѣтны еще какое-то музыкально живописное роскошество и нѣкоторая истинно-художественная, романтическая приподнятость тона, то въ другихъ мѣстахъ мы встрѣчаемъ чисто реалистическая и натуралистическая описанія, и, среди поэтической нѣги,

такія натуралистическая описанія еще рѣзче выдѣляются и говорять о новой манерѣ художника. Такова мертвая княгиня, къ рукѣ которой ея сѣдая мамушка

Устами ветхими прильнула:
Рука ледяно-холодна.
Въ лице ей съ трепетомъ взглянула:
На немъ поспѣшный смерти ходъ;
Глаза распухли, въ пѣнѣ ротъ...

И поэть въ своей повѣсти широко пользуется всѣми тонами, которые способны произвести краски его палитры, вводя въ свою повѣсть художественно возсоздаваемую реальную обстановку и, не пренебрегая никакими средствами языка, смѣшивая поэтическія описанія съ провою жизни, говорить о „желудочной тоскѣ“ поэта, скропавшаго на смерть княгини стишкы, о князѣ, который характеризуется всего двумя стихами:

Мужъ, не весьма сентиментальный,
Сморкаясь громко, входить князь.

Не вводя въ нашъ очеркъ элемента оцѣнки, замѣтимъ только, что описанія „Бала“ гораздо богаче (не говоримъ—выше) и разнообразнѣе „Эды“: „Эда“, въ сравненіи съ „Баломъ“, представляется идилліей или, лучше сказать, элегіей, происходящей на лонѣ природы, тогда какъ въ „Балѣ“ поэтъ перенесъ человѣческую трагедію въ житейскую обстановку и тѣмъ самымъ сообщилъ этой трагедіи большую жизненную (не говоримъ—художественную) убѣдительность.

Особенно большое развитіе Боратынского на пути отъ идеализма къ реализму мы находимъ въ изображеніи характеровъ, и въ этомъ отношеніи независимо и оригинально развивавшійся поэтъ шелъ рука объ руку со своимъ литературнымъ вѣкомъ, создавшимъ сложный образъ Евгения Онѣгина, имѣющій много родственно-общаго съ героями Боратынского въ „Балѣ“ и въ „Наложницѣ“.

Параллельно съ развитіемъ драматического хода повѣсти шло у Боратынского и развитіе драматическихъ характеровъ героевъ. Цѣльные и простые, художественные образы—тѣни Гусара и Эды оказались несостоятельными передъ лицомъ жизненной правды. Пять лѣтъ спустя послѣ создания „Бала“, въ „предисловіи къ „Наложницѣ“, Боратынский говорилъ, что „характеры смѣшанные одни естественны“, но и въ повѣсти

„Балъ“ поэтъ уже пытался создать болѣе сложные и болѣе естественные смѣшанные характеры.

И на фонѣ обстановки высшаго московскаго свѣта Боратынскій создаетъ два смѣшанныхъ характера: княгини Нины и Арсенія. Для образа Нины поэтъ взялъ натуру (быть можетъ впервые)—графиню А. Ф. Закревскую,—которая хоть и была пересоздана живымъ воображеніемъ поэта, но замѣтно сказалась въ повѣсти. Гораздо сложнѣе происхожденіе героя—Арсенія: при всемъ отличіи своемъ отъ Онѣгина, Арсеній имѣть съ нимъ много родственно-общаго, и эта родственность должна объясняться общими литературными и жизненными источниками. Не слѣдуетъ однако преувеличивать общности Арсенія и Онѣгина.

Еще въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ“ Пушкинъ хотѣлъ образъ своего героя передать ту неудовлетворенность и прежде временную старость души, которая являлась своего рода болѣзнью вѣка, торопившагося и жить и чувствовать. По той же канвѣ жизни созданы и Онѣгинъ, и Арсеній. Но эта жизненная канва давала большой просторъ художественному воображенію и мастерству поэта, и только съ натижкой можно рассматривать байроническихъ героевъ и Кавказскаго Плѣнника, какъ прототипъ Онѣгина и Арсенія (какъ и воспроизведеніе героя 20-хъ годовъ по Пушкину и Боратынскому было бы тоже весьма приблизительнымъ).

Болѣе сложное развитіе характеристики у Боратынского мы найдемъ въ „Наложницѣ“, но и въ „Балѣ“ мы находимъ прагматическое изображеніе, очень отличающееся отъ изображенія характера героя въ „Эдѣ“. О гусарѣ (въ „Эдѣ“) поэтъ говоритъ только—

Взглядовъ живость,
Изъ-подъ фуражки по щекамъ
Два черныхъ локона къ плечамъ,
Віясь, бѣгущіе красиво,
Гусарскій щегольской уборъ,—
И безъ рѣчей для дѣвы горъ
Все было въ немъ краснорѣчиво—

между тѣмъ какъ характеристикѣ Арсенія поэтъ посвящаетъ гораздо болѣе значительные стихи:

Красой изнѣженной Арсеній
Не привлекалъ къ себѣ очей:
Слѣды мучительныхъ страстей,
Слѣды печальныхъ размышеній

Носилъ онъ на челѣ; въ очахъ
 Безпечность мрачная дышала,
 И не улыбка на устахъ,—
 Усмѣшка праздная блуждала.
 Онъ не задолго посѣщалъ
 Края чужіе; тамъ искалъ,
 Какъ слышно было, развлеченья
 И снова родину узрѣлъ;
 Но, видно, сердцу исцѣленья
 Дать не могъ чужой предѣлъ...
 Онъ въ разговорѣ поражалъ
 Людей и свѣта знаньемъ рѣдкимъ,
 Глубоко въ сердце проникалъ
 Лукавой шуткой, словомъ Ѳдкимъ
 Судилъ разборчиво пѣвца,
 Зналъ цѣну кисти и рѣзы;
 И сколько ни былъ хладно-сжатымъ
 Привычный складъ его рѣчей,
 Казался чувствами богатымъ
 Онъ въ глубинѣ души своей.

И въ теченіе поэмы Боратынскій не разъ возвращался къ своему романтическому герою, поясняя тотъ или иной штрихъ въ его характерѣ. Но какъ Плѣнникъ Пушкина унесъ съ собой тайну своего разочарованія и преждевременной старости, такъ намъ неизвѣстны и „мучительные страсти“, „печальные размышленія“ и „безпечность мрачная“ Арсенія. Характеръ Арсенія остался недоразвитымъ. Можно догадываться, что мрачность и разочарованность Арсенія были только напускными, только маской, которую Арсеній сбросилъ, когда нашелъ свое счастье въ Ольгѣ—въ „жеманной дѣвчонкѣ“

Со сладкой глупостью въ глазахъ,
 Въ кудряхъ мохнатыхъ, какъ болонка,
 Съ улыбкой сонной на устахъ!..

Поэтъ не отвѣтилъ намъ на загадку, поставленную имъ со-
 зданіемъ образа Арсенія, какъ въ свое время не отвѣтилъ на
 загадку Чаткаго Грибоѣдовъ, можетъ быть потому, что недо-
 статочно еще опредѣлился въ жизни тотъ типъ, который могъ
 бы служить ясной канвой для созданія поэтическаго образа, а
 можетъ быть потому, что, сдѣлавъ большой шагъ въ изобра-
 женіи смѣшанныхъ характеровъ, поэтъ не достигъ такого умѣ-
 нія и такихъ приемовъ, какие мы найдемъ въ его послѣдней

повѣсти—„Наложница“. Кромѣ того, необходимо имѣть въ виду, что и Арсеній, какъ все другое, служилъ для поэта только обстановкой, только фономъ, на которомъ оттѣнялась его главная героиня—княгиня Нина, великосвѣтская Лaisа, натура демоническая и въ то же время несчастное слабое существо, которое не могло перенести измѣны Арсенія, поработившаго воображеніе княгини, представшаго ей „посланникомъ рока“.

И Нина, какъ и Арсеній (передъ которыми „поникли Адонисы“ и умолкъ „задорный полкъ остряковъ“), является героиней романтической поэмы—исключительной „сильной натурой“, для изображенія которой поэтъ избралъ самыя живоговорящія краски. Импрессіонистично самое описание княгини, ея „яркаго глянца черныхъ глазъ, облитыхъ влагой сладострастной“.

Смѣшанные характеры одни естественны—говорилъ поэтъ—и создавалъ образъ плѣнительной, нѣжной, ласковой и въ то же время пламенной, страстной, новой „Медеи“, у которой послѣ ревниваго гнѣва катились слезы изъ очей и

Терзая душу, проливали
Въ нее томленье слезы тѣ...
Страхись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебнымъ очеркомъ она;
Кругомъ ея заразы страстной
Исполненъ воздухъ!..
Бѣги ее: нѣтъ сердца въ ней!
Страхися вкрадчивыхъ рѣчей
Одурѣвающей приманки;
Влюбленныхъ взглядовъ не лови:
Въ ней жаръ упившейся Вакханки,
Горячки жаръ—не жаръ любви.
Такъ, не сочувствія прямаго
Могуществомъ увлечена,
На грудь роскошную она
Звала счастливца молодаго:
Онъ пересозданъ былъ на мигъ
Ея живымъ воображенiemъ;
Ей своенравный зреялся ликъ,
Она ласкала съ упоенiemъ
Одно видѣніе свое.
И гасла вдругъ мечта ее:
Она вдалась въ обманъ досадный,
Ея прельститель ей смѣшонъ...

Но „посланникъ рока“ сліялъ „всѣ мысли въ мысль одну“, и, демоническая натура, она не могла не отравиться, не сдержать своего „страшнаго обѣта“, когда эта одна мысль поработленаго воображенія была разрушена.

Драматическій элементъ и психологический реализмъ очень сильны въ повѣсти Боратынского, которая и была понята современниками, какъ драма характеровъ, живо списанныхъ съ натуры наблюдателемъ-художникомъ. Такое пониманіе повѣсти Боратынского должно быть нѣсколько исправлено, но не подлежитъ сомнѣнію, что „Баль“ съ гораздо большимъ правомъ можетъ быть названъ реалистической повѣстью, чѣмъ „Эда“.

„У меня въ пяльцахъ новая ультра-романтическая поэма“, писалъ Боратынский Кирѣевскому о своей послѣдней повѣсти „Наложница“. И поэма Боратынского является дѣйствительно ультра-романтической, понимая подъ этимъ то крайнее направление романтизма, которое стремилось къ реализму и натурализму.

„Наложница“ является завершеніемъ пути поэта отъ идеализма къ реализму, и въ ней торжествуютъ тѣ принципы реалистической повѣсти, которые поэтъ высказывалъ въ предисловіи къ своей первой повѣсти „Эда“, и которые широко развили въ предисловіи къ „Наложницѣ“. Слѣдя за путемъ развитія въ поэмахъ „Эда“, „Баль“ и „Наложница“, мы тѣмъ самымъ опредѣляемъ „новую, собственную дорогу“, которую избралъ себѣ Боратынский въ поэмахъ.

Неудивительно, что Боратынский со своей „Наложницей“ вышедшей въ свѣтъ въ 1831 году, оказался почти одинокимъ въ современномъ обществѣ, которое было шокировано въ „Наложницѣ“ всѣмъ, начиная съ самого заглавія повѣсти.

Междудѣмъ „Наложница“, не отличаясь лирической увлекательностью „Эды“ и роскошнымъ импрессионизмомъ „Бала“, въ которомъ еще силенъ лиризмъ, является самымъ совершеннымъ произведеніемъ Боратынского въ томъ смыслѣ, что ни въ одномъ изъ произведеній его не проявилось въ такой мѣрѣ разнообразныхъ сторонъ таланта поэта, использовавшаго всѣ свои лирическія и драматическія тональности и языковыя средства. Говорить обѣ общемъ тонѣ въ „Наложницѣ“ нельзя, но можно выдѣлять господствующій тонъ въ связи съ общимъ фономъ, на которомъ развита поэтомъ драма дѣйствующихъ лицъ.

Уже въ „Баль“ и въ „Переселеніи душъ“ мы отмѣчали богатство оттѣниковъ въ стихѣ Боратынского и соединеніе высокой поэзіи съ низкою прозою. Подлинно бытовой, жизненной

прозы, житейской „низкой природы“, еще больше въ „Наложнице“, въ которой она какъ будто бы и господствуетъ. Вспомнимъ описание „буйной орды гулякъ“, когда

шляпу на лобъ

Надвинувъ, держить предъ собой
 Стаканъ недопитый иной
 И разсуждаетъ: надлежало бъ
 Докончить дѣло!—Недвижимъ,
 Онъ долго простоитъ надъ нимъ.
 Другой предъ зеркаломъ на шею
 Свой галстукъ вяжетъ, но рука
 Его тяжка и неловка:
 Все какъ-то врозь идутъ подъ нею
 Концы проклятаго платка.
 Къ свѣчѣ приставя трубку задомъ,
 Ждетъ третій пасмурный чудакъ,
 Когда закурится табакъ.
 Лихія шутки сыплють градомъ;—
 Но полно: воинъ валить кабакъ...
 Вотъ опрокинутые стулья;
 Табачный пепель тутъ и тамъ;
 Ряды стакановъ по столамъ
 Съ остатками задорной влаги;
 Тарелки жирныя кругомъ...

Но живопись „Наложницы“ гораздо богаче Фламандской школы пестраго сора, и сейчасъ же послѣ описанія слѣдовъ ночного пирования, послѣ „кабака“ и „жирныхъ тарелокъ“, поэтъ рисуетъ такую картину, представившуюся Елецкому:

Предъ нимъ, свѣтло озарена
 Наставшимъ утромъ, ото сна
 Москва торжественно вставала.
 Подъ раннею лазурной мглой,
 Блестящей влагой блескъ дневной
 Рѣка мѣстами отражала;
 Аркада длиннаго моста
 Бѣлѣла ярко. Чуденъ, пышенъ,
 Московскихъ зданій красота,
 Надъ всѣми зданьями возвышенъ
 Огнемъ востока Кремль алѣлъ.
 Зажгли лучи его живые

Соборовъ главы золотыя;
 Межъ нимъ царственно горѣлъ
 Иванъ Великой. Садъ красивой,
 Кругомъ твердыни горделивой
 Віяся, живо зеленѣлъ.

Сопоставленіе этихъ двухъ отрывковъ достаточно уже говорить о богатствѣ отрывковъ въ краскахъ „Наложницы“, но тональное богатство „Наложницы“ далеко не исчерпывается указаннымъ различіемъ. Не будемъ приводить длинныхъ выписокъ изъ повѣсти, но укажемъ на присутствіе такихъ стиховъ, которые своимъ лиризмомъ выдаютъ родство „Наложницы“ съ „Эдой“: написавъ яркими красками гулянья подъ Новинскимъ и встрѣчу Елецкаго съ Вѣрой, поэтъ говоритъ:

Какъ бодрость въ путника ночнаго,
 На небѣ утреннемъ горя,
 Вливаетъ алая заря,—
 Такъ точно, жизнью обновленной,
 Страстями долго омраченной,
 Душѣ его дохнуль тогда
 Румянецъ нѣжнаго стыда.
 Онъ къ милой думой умиленной
 Летитъ...

Такое же разнообразіе находимъ мы и въ отдѣльныхъ картинахъ „Наложницы“, разнообразіе и особенную выпуклость, контурность, и красочность, встрѣченную нами уже въ „Балѣ“. Картины „Наложницы“ отличаются отъ картинъ „Бала“ еще большимъ разнообразіемъ и драматическимъ движеніемъ.

Такова картина ожиданія гостей Елецкимъ—

Невнятнымъ стукомъ пораженъ
 Кареты дальней, вспыхнетъ духомъ,
 Вскочивъ къ окну, приникнетъ ухомъ:
 Они!.. Неправда! Стихнулъ гулъ
 Иль въ переулокъ повернуль.
 Вотъ, паконецъ, предъ самымъ домомъ
 Карета покатилась съ громомъ;
 Затрясся, зазвенѣлъ весь домъ,—
 И тишина тотчасъ потомъ.

Таковы картины гулянья подъ Новинскимъ, осени на Прѣненскихъ прудахъ, маскарада, ночи, въ которую пришла Вѣра

для побѣга съ Елецкимъ... Въ этихъ отрывкахъ картины отличаются не только зрительной, отчетливой видимостью, но и слуховой картинностью, что болѣе всего и способствуетъ передачѣ движенія въ быстрой смѣнѣ картинъ.

Замѣтимъ, что въ приведенномъ нами отрывкѣ—9 стихахъ—переданы не сколько быстро смѣняющихся картинъ, при чёмъ для усиленія слуховой картинности, поэтъ прибѣгаетъ къ аллитерациямъ, ассонансамъ и къ звукоподражанію („Стихнуль гулъ иль въ переулокъ повернуль“, „Затрясся, зазвенѣль весь домъ“, „карета покатилась съ громомъ“).

Въ 1830 году Боратынскій написалъ драму, которая не дошла до пасъ, но первый опытъ въ драматическомъ родѣ оказалъ несомнѣнное влияніе на развитіе драматического хода повѣсти и драматической формы—діалога, которымъ поэтъ пользуется гораздо болѣе широко, чѣмъ въ прежнихъ своихъ повѣстяхъ.

Діалогъ въ „Наложницѣ“ стоитъ особенно высоко въ томъ отношеніи, что каждое дѣйствующее лицо говоритъ особеннымъ, свойственнымъ его характеру языкомъ, и эта наглядность, объясняемая реалистическими тенденціями, способствуетъ большей яркости характеристики героевъ повѣсти. Особенно замѣчательна въ этомъ отношеніи языкъ цыганки—наложницы Елецкаго. Въ то время, какъ Эда, простая фінка, разговаривала съ гусаромъ высокимъ лирическимъ языкомъ, но безличнымъ, цыганка говорить такимъ языкомъ:

Какъ я бы выла, да рыдала...
Ты разлюбилъ,—я все любила;
Ты гналъ безжалостно меня,—
Къ тебѣ я, злобному, ласкалась,
Какъ собаченка. Разсмотря
Меня получше: говори,
Такая-ль я тебѣ досталась?—
Глаза потухнули отъ слезъ,
Лице завяло, грудь изсохла;
Я только, только что не сдохла!..

Особенно выразительны психологически-убѣдительные заклинанія цыганки, полныя паѳоса дикаго человѣка, глубоко вѣрящаго въ магію чудодѣйственнаго напитка и въ магію словъ заклинанія:

Я знаю, что въ тебѣ творится.
Въ душѣ мятущейся твоей

Я чуднымъ чудомъ оживаю:
 Разлучницы проклятой въ ней
 Бѣсовскій образъ погашаю.
 Блѣдаешь ты... Не мудрена
 Измѣна мнѣ, а ей страшна!
 Будь ей теперь моя судьбина!
 Томись она, крушись она!
 Съ тоски изсохни, какъ лучина!
 Умри она! Ты мой: приди,
 Прижмись опять къ моей груди!..

Конечно, этотъ реалистическій языкъ прошелъ черезъ художественную шлифовку поэта и его эстетическое воспріятіе (и въ этомъ смыслѣ не можетъ считаться подлинно реалистическимъ, точной копіей), но отъ этого пріобрѣлъ еще большую убѣдительность и убѣдительность *художественную*.

Особеннымъ, своимъ языкомъ говорять и Елецкій, краснорѣчиво убѣждающій и какъ бы гипнотизирующій Вѣру, и Вѣра. Наименьшей яркостью отличается языкъ Вѣры, но блѣдностью отличается и самый образъ романтической дѣвушки, созданный Боратынскимъ. Образъ Вѣры, можетъ быть, потому и менѣе удался поэту, что онъ менѣе привлекалъ вниманіе поэта, сосредоточившагося на драмѣ Елецкаго и цыганки Сары. Вѣра играетъ такую же второстепенную роль, какую играла въ „Балѣ“ Ольга, о которой только упоминалось въ повѣсти, но въ „Наложницѣ“ Боратынскій болѣе развилъ это второстепенное лицо и тѣмъ самымъ не только оживилъ свою повѣсть, но и многое уяснилъ въ характерѣ и въ дѣйствіяхъ своего главнаго героя (оттого, можетъ быть, Арсеній въ „Балѣ“ и не доразсказанъ, что поэтъ ничего не сказалъ намъ объ Ольгѣ, игравшей такую важную роль въ жизни Арсенія).

Образъ романтической московской дѣвушки имѣть родственное съ женскими образами, созданными Пушкинымъ, но мы не имѣемъ данныхъ для того, чтобы говорить о вліяніи того или иного Пушкинского образа на Вѣру, и, кажется, не только осторожиѣ, но и основательнѣе говорить объ общихъ источникахъ жизни, изъ материала которой создавали поэты свои образы, тѣмъ болѣе, что у Пушкина и Боратынскаго мы не найдемъ (рѣчь идетъ только о Вѣрѣ) формальныхъ совпаденій.

Въ общихъ чертахъ главные герои „Наложницы“—Елецкій и Сара—напоминаютъ героевъ „Бала“—Арсенія и княгиню. Елецкій и Арсеній носятъ на себѣ слѣды печальныхъ размы-

шленій и, недюжинныя натуры, порываютъ связь съ обществомъ, изъ котораго они выдѣляются головой (тема романтической поэмы); сосредоточенность и мрачность такія же основныя черты ихъ вѣшняго облика, какъ у Сары и княгини общая основная стихія, порабощающая ихъ и сливающая всѣ мысли ихъ въ мысль одну—страстность демонического характера, толкающая ихъ на преступлѣніе. Сравненіе героевъ „Бала“ и „Наложницы“ и драматической интриги можетъ итти дальше: вѣшне холдные, мрачные, съ преждевременно убитой душой, и Арсеній, и Елецкій „въ глубинѣ своей души“ были богаты чувствами и, среди своихъ порочныхъ заблужденій, таили въ себѣ возможность духовнаго возрожденія и просвѣтленія души. Такъ была задумана первоначально и „Эда“, въ которой по первоначальной редакціи (дошедшей до насъ только въ отрывкахъ), нравственно возрожденный чистой любовью Эды, спѣшилъ къ ней съ тѣмъ, чтобы начать новую жизнь...

Смѣшанный характеръ Елецкаго, провозглашенного со всѣхъ сторонъ „чудовищемъ“, состоялся изъ свѣта и тѣней, и, рѣшительный глава буяновъ и повѣсь,

среди пороковъ,
Кишѣвшихъ роемъ вкругъ него,
И ядовитыхъ ихъ уроковъ,
И омраченья своею,
Въ душѣ сберегъ онъ чувства пламя.

Главнымъ омраченіемъ души Арсенія и Елецкаго была страсть, представшая имъ въ образѣ княгини Нины и цыганки Сары. Искупительной жертвой, очистительной жертвой отъ омраченія души является чистая любовь Ольги (въ „Балѣ“) и Вѣры (въ „Наложницеѣ“). Въ драмѣ демонической герини повѣсти „Балъ“ Нина погибаетъ отъ своей страсти; драма же Арсенія не доразсказана и превращается въ идиллію. Въ „Наложницеѣ“ мы имѣемъ три драмы: драму Елецкаго, заплатившаго жизнью за свой союзъ съ демонической страстью, драму жертвы—Вѣры, вызвавшей къ возрожденію омраченную душу Елецкаго, и драму страстной цыганки, павшей жертвой своей исключительной и преступной любви. Не будемъ касаться вопроса о томъ, насколько психологически обоснованы всѣ трагические исходы драмъ, высказавъ только предположеніе, что судьей своихъ героевъ является художникъ-моралистъ, которому было необходимо провести въ своей повѣсти идею возмездія, но отмѣтимъ эту идею возмездія, присутствующую

и въ „Балѣ“ и въ „Наложницѣ“—въ повѣстяхъ, имѣющихъ между собою много точекъ соприкосновенія. И въ „Балѣ“ и въ „Наложницѣ“ ангель борется съ діаволомъ, и полемъ ихъ сраженія является человѣческая душа, состоящая изъ свѣта и тѣни, изъ порочныхъ и чистыхъ побужденій. Въ связи съ такой психологической задачей, поставленной себѣ поэтомъ (о чёмъ онъ самъ говоритъ въ предисловіи къ повѣсти), находится и развитіе характеровъ „Наложницы“, изъ которыхъ наибольшей яркостью отличается цыганка Сара и наибольшей сложностью, обусловленной психологическимъ заданіемъ,—Елецкій; и по одному этому приходится говорить о самостоятельномъ, индивидуальномъ развитіи характеровъ у Боратынскаго. Между тѣмъ современная критика нашла сходство у Елецкаго съ Онѣгінимъ, и въ своей „Антикритикѣ“ Боратынскій долженъ былъ защищаться и говорить, что „Онѣгинъ человѣкъ разочарованный, пресыщенный; Елецкій страстный, романтическій. Онѣгинъ отжилъ, Елецкій только начинаетъ жить. Онѣгинъ скучаетъ отъ пустоты сердца; онъ думаетъ, что ничто уже не можетъ занять его; Елецкій скучаетъ отъ недостатка сердечной пищи, а не отъ невозможности чувствовать: онъ еще исполненъ надеждъ, онъ еще вѣритъ въ счастье и его домогается. „Онѣгинъ неподвиженъ, Елецкій дѣйствуетъ“, какое же между ними сходство?“—спрашиваетъ поэтъ. И при всемъ видимомъ несходствѣ Елецкаго и Онѣгина, между ними можно установить родство еще въ большей степени, чѣмъ между Онѣгінимъ и Арсениемъ: это родство значительное, потому что общее у Елецкаго и Онѣгина заключается не только въ общихъ условіяхъ воспитанія и въ нѣкоторыхъ общихъ чертахъ, зависящихъ отъ условій вѣка, продуктами которого они являлись, но и въ способахъ, приемахъ характеристики—родство, обращающее на себя вниманіе и въ тѣхъ случаяхъ, когда поэты говорятъ о разныхъ сторонахъ характеровъ своихъ героевъ.

Вспомнимъ начало II-й главы „Наложницы“:

Отца и матери Елецкой
Лишился въ годы тѣ, когда
Обыкновенно жизни свѣтской
Намъ наступаетъ череда.
Въ нее вступилъ онъ и сначала
Являлся въ вечеръ на три бала;
Съ визитной карточкой порой
Летѣлъ на выѣздъ городской.

Согласно съ общимъ заведеньемъ,
 Къ дядямъ и къ теткамъ съ поздравленьемъ
 И въ Рождество, и въ Новый годъ
 Скакалъ съ прихода на приходъ...
 Но волей полной пасладиться
 Алкалъ безумецъ молодой,
 И вскорѣ началъ онъ томиться
 Предѣловъ свѣтскихъ тѣснотой.
 Ему въ гостиныхъ стало душно:
 Ему досадно и смѣшно
 Въ нихъ показалось одно,
 Другое глупо, третье скучно.
 Изъ нихъ Елецкой мой исчезъ...
 Одушевленъ въ рѣчахъ своихъ
 Враждою къ мнимымъ предразсудкамъ,
 Подвергнулъ дерзновеннымъ шуткамъ
 Онъ все святое для другихъ...
 И отъ людей благоразумныхъ
 Чудовищемъ со всѣхъ сторонъ
 Елецкой былъ провозглашенъ.
 Съ Москвой и Русью онъ разстался,
 Края чужіе посѣтилъ;
 Тамъ промотался, проигрался
 И въ путь обратный поспѣшилъ.
 Своимъ пепатамъ возвращенный,
 Всему рѣшительнымъ вѣнцомъ,
 Цыганку взялъ къ себѣ онъ въ домъ,
 И, общимъ мнѣніемъ пораженный,
 Самъ рушилъ онъ, надъ нимъ смѣясь,
 Со свѣтомъ остальную связь.

Изъ этой характеристики „страстнаго“ Елецкаго можно заключить, что его связь съ цыганкой является въ большей степени вызовомъ свѣту, чѣмъ потребностью „страстнаго“ сердца; точно также можно оснаривать, что препятствиемъ для Онѣгина является „невозможность чувствовать“. Боратынскій говоритъ, что Елецкой скучаетъ „отъ недостатка сердечной пищи“, но не отъ того же ли недостатка скучаетъ и Онѣгинъ, которому, какъ и Елецкому, стало душно въ гостиныхъ и одно показалось „смѣшно и досадно“, „другое глупо, третье скучно“, и который, не найдя себѣ сердечной пищи, сознательно охладился и не давалъ „привычкѣ милой ходу...“

Нельзя преувеличивать влияния Пушкина на оригинальное и независимое дарование Боратынского, но нельзя и вовсе игнорировать Пушкина при изучении творчества Боратынского, тем более, что различие въ сходномъ говорить объ индивидуальныхъ особенностяхъ, а сходство въ различномъ часто устанавливаетъ не только взаимную связь, но и (чаще) зависимость отъ литературныхъ традицій и условій жизни, современной имъ.

Мы прослѣдили путь Боратынского въ его повѣстяхъ, путь романтическій—отъ идеализма къ реализму, который является уже торжествующимъ въ послѣдней и наиболѣе сложной повѣсти—въ „Наложницѣ“, при чёмъ попутно отмѣчали, что „новая, собственная дорога“, въ которой сказалась вся независимость таланта Боратынского, часто сходилась съ дорогами современной поэту литературы и не была вовсе отрѣшена отъ современности. Реалистическая повѣсть Боратынского (по существу значительно отличающаяся отъ его лирики) явилась результатомъ того сложного романтическаго развитія, какое мы находимъ въ русской литературѣ Александровскаго и Николаевскаго времени; и все отличіе Боратынского отъ современныхъ ему литературныхъ теченій заключается въ томъ, что онъ какъ бы опережалъ свой литературный вѣкъ и въ то же время не порывалъ рѣзко связей съ литературными традиціями. Этимъ въ большой степени обусловленъ малый успѣхъ поэмъ Боратынского: въ то время, когда возникала и постепенно развивалась реалистическая повѣсть Боратынского, реалистическія тенденціи въ общемъ были чужды „большинству“ читателей и критиковъ; въ то же время, когда реалистическая повѣсть получила полное признаніе, повѣсти Боратынского, тѣсно связанныя съ современной романтикой и идеалистическо-лирическими приемами, отошли уже въ область прошлаго и стали анахронизмомъ. О поэмахъ Боратынского и значительной роли ихъ въ поступательномъ движениі русской литературы забыли не только ближайшіе, но и далекіе потомки, почти вовсе игнорировавшіе замѣчательныя не только для своего времени поэмы Боратынского.

М. Л. Гофманъ.

